

I. Вокруг госпожи Сванн

Когда родители впервые собрались пригласить на обед г-на де Норпуа², мама огорчалась, что профессор Котар в отъезде, а со Сванном она совершенно перестала общаться: ведь и с тем и с другим бывшему посланнику наверное было бы приятно побеседовать; отец однако возразил, что такой выдающийся сотрапезник и знаменитый ученый как Котар за столом и впрямь всегда кстати, а вот Сванн с его хвастовством, с его манерой трубить во всеуслышание о своих самых ничтожных знакомствах — вульгарный зазнайка, и маркиз де Норпуа счел бы его «надутым» (это было любимое словечко маркиза). Такие слова отца требуют некоторых пояснений, ведь кое-кому, вероятно, Котар запомнился как посредственность, а Сванн — как человек необычайно деликатный во всем, что касалось его связей в высшем свете, скромный и сдержанный. Но вышло так, что к «сыну Сванна» и к Сванну из Жокей-клуба, старинному другу моих родителей, добавился новый человек (а в дальнейшем, возможно, добавлялись и другие), муж Одетты. Приспособив к ничтожным притязаниям этой женщины все свои прежние инстинкты, устремления, ловкость, он исхитрился создать себе новое положение в обществе, которое было куда ниже прежнего, но зато приличествовало и ему, и спутнице его жизни. Вот так и появился другой человек. Он продолжал встречаться со своими личными друзьями, но не хотел

навязывать им Одетту, если они сами об этом не просили, а тем временем у него началась вторая, общая с женой жизнь, в новом окружении; и можно было бы еще понять, что, желая оценить положение этих новых людей в обществе и, соответственно, как-то польстить своему самолюбию, раз уж приходилось их принимать, он сравнивал их не с теми блистательными знакомыми, которые составляли его круг до женитьбы, а с прежними знакомствами Одетты. Но даже зная, что теперь он хочет дружить с нескладными чиновниками да с иссохшими царицами министерских балов, трудно было не удивляться, что он, когда-то, да и теперь так изящно умалчивавший о приглашении в Твикнхэм или Букингемский дворец³, теперь бил во все колокола, если г-же Сванн наносила визит жена заместителя начальника какой-нибудь канцелярии. Наверно, на это можно было бы возразить, что простота у великосветского Сванна была всего-навсего более утонченной формой суетности; подобно многим другим иудеям, старинный друг моих родителей поочередно воплощал все стадии, через которые прошли его соплеменники, начиная с самого наивного снобизма и самой грубой наглости вплоть до самой изысканной любезности. Но главная причина перемены состояла в том, что наши добродетели — и это относится ко всем людям вообще — не витают в воздухе, доступные нам в любую минуту; у нас в голове они в конце концов оказываются тесно связаны с теми нашими поступками, которые мы совершили под их влиянием; а случись нам заняться чем-то другим, и вот мы уже сбиты с толку и понятия не имеем, что и в этом случае мы могли бы опереться на те же самые добродетели. Угодничая перед своими новыми знакомыми, Сванн напоминал тех великих художников, которые под конец жизни хватаются то за кулинарию, то за садоводство и при всей своей скромности не

в силах скрыть простодушную радость, когда посторонние расхваливают их стряпню или клумбы; здесь они не потерпели бы критики, хотя легко примут ее, если речь идет об их шедеврах; или, при всей щедрости, бесплатно уступая кому-нибудь картину, не могут сдержать раздражения, когда проиграют сорок су в домино.

Ну а с профессором Котаром мы еще долго будем встречаться у Хозяйки в ее замке Распельер, но это будет гораздо позже. Теперь же ограничимся по его поводу только одним замечанием: пожалуй, перемены, совершившиеся в Сванне, могут показаться неожиданными: я сам о них не подозревал, встречая отца Жильберты на Елисейских Полях, хотя, впрочем, он со мной и не разговаривал, а значит, не мог обнаружить передо мной свои политические связи (а даже пускай бы и обнаружил, я бы, наверно, не сразу заметил его суетность, потому что когда составишь себе о ком-нибудь мнение, становишься глух и нем: мама три года не замечала, что ее племянница красит губы, словно помада у той на губах незаметно растворялась без следа; но в один прекрасный день не то дополнительная порция помады, не то другая причина привела к тому, что мы называем перенасыщением; вся доньне незамеченная помада кристаллизовалась, мама, потрясенная этим внезапным буйством красок, объявила — в добрых традициях Комбре, — что это стыд и позор, и почти прервала отношения с племянницей). Для Котара же, напротив, эпоха, когда он был свидетелем первых шагов Сванна в доме у Вердюренов, уже отодвинулась в прошлое; а с годами к нам приходят почести и официальные титулы и звания; кроме того, можно быть необразованным, отпускать дурацкие каламбуры, но обладать особым даром, которого не заменит никакая общая культура, — например, даром великого стратега или великого

клинициста. Теперь собратья Котара признавали, что этот безвестный лечащий врач постепенно становится европейской знаменитостью. Более того, наиболее умные молодые медики объявляли — по крайней мере, в последние несколько лет, поскольку новые моды рождаются именно из потребности в новизне, — что если они когда-нибудь заболеют, то не доверят свою жизнь никому, кроме Котара. Вероятно, общаться они предпочитали с более просвещенными старшими коллегами, более эстетически развитыми, с которыми можно было поговорить о Ницше, Вагнере. В те вечера, когда г-жа Котар в надежде, что когда-нибудь ее муж станет деканом медицинского факультета, принимала его коллег и учеников, сам доктор, как только начинали музицировать, уходил поиграть в карты в соседней гостиной, вместо того чтобы слушать. Но все хвалили быстроту, глубину и надежность его суждений, его диагнозов. И наконец, о поведении в целом, которое доктор демонстрировал окружающим, в частности, моему отцу, заметим, что не всегда во второй половине жизни наши врожденные свойства остаются при нас, пускай развиваясь или тускнея, становясь крупнее или мельче; нет — иногда наша натура словно выворачивается наизнанку, как перелицованная одежда. Пока Котар был молод, его неуверенный вид, застенчивость, преувеличенное дружелюбие навлекали на него бесконечные насмешки повсюду, кроме как у Вердюренов, которые были от него в восторге. Какой милосердный друг посоветовал ему напустить на себя ледяной вид? Теперь ему это было нетрудно, потому что он занимал важное положение. Так вот, теперь только с Вердюренами он вновь инстинктивно становился самим собой, а в остальное время держался холодно, предпочитал молчать, а если нужно было высказаться — говорил безапелляционно, и не забывал прибавить что-нибудь

неприятное. Он, вероятно, испробовал эту новую манеру на пациентах, которые раньше его не знали и не могли сравнивать, так что их удивило бы, узнай они, что от природы грубость была ему не свойственна. Главное, он следил за тем, чтобы всегда оставаться невозмутимым: даже на работе, в больнице, когда он выдавал свои каламбуры, которые у всех, от директора больницы до самого юного экстерна, вызывали смех, бывало, ни один мускул у него не дрогнет в лице, которое, кстати, неизнаваемо изменилось с тех пор, как он сбрил бороду и усы.

Наконец объясним, кто такой маркиз де Норпуа. До войны он был полномочным министром, во время событий 16 мая посланником⁴, и, несмотря на все это, к великому удивлению многих и многих, ему поручали представлять Францию по всяким исключительным поводам — даже быть контролером государственного долга в Египте, где благодаря своим великим финансовым талантам он оказал стране важные услуги; причем эти поручения давали ему радикальные кабинеты министров, которые не приняли бы на службу реакционера, даже если бы он был простым буржуа, а уж прошлое г-на де Норпуа, его связи и образ мыслей должны были, казалось, тем более внушать им подозрения. Но эти передовые министры, по-видимому, понимали, что таким назначением докажут широту взглядов во всем, что касается высших интересов Франции, и проявляли ни с чем не сравнимую политическую изоционность; за это они удостаивались от газеты «Деба» титула «государственных деятелей» и в конечном счете извлекали пользу из блеска, неотъемлемого от аристократического имени, а также из любопытства, которое пробуждает у публики неожиданный выбор, поражающий ее, как внезапная развязка в пьесе. Причем министры знали, что, обращаясь к г-ну де Норпуа, могут по-

лучить все эти выгоды, не опасаясь подвоха с его стороны: происхождение маркиза не только не вызывало у них опасений — оно даже служило залогом его лояльности. И в этом правительство Республики не ошибалось. Прежде всего потому, что определенная часть аристократии с детства приучена воспринимать свое имя как врожденное преимущество, которого ничто не может у нее отнять (и цену которому точно знают те, кто от рождения так же знатен или еще знатнее); поэтому аристократ понимает, что может, ничего не теряя, избавить себя от усилий, которые предпринимают буржуа, стараясь высказывать только правильные суждения и встречаться только с благонамеренными людьми, — усилий, которые, кстати, в дальнейшем почти не приносят им ощутимой пользы. Зато, стараясь возвыситься в глазах королевских и герцогских родов, превзошедших ее на иерархической лестнице, аристократия понимает, что для этого ей непременно нужно прибавить к своему имени то, чего ему еще не хватает: политическое влияние, славу в мире литературы или искусства, огромное состояние. Аристократия пальцем не шевельнет ради бесполезного захудалого дворянчика, чьей дружбы домогаются буржуа, ведь члены королевской фамилии не скажут ей спасибо за это бесплодное знакомство; но зато уж она расстарается ради политиков, будь они хоть масоны, — ведь политики могут и в посольство ввести, и на выборах помочь — и ради людей искусства или ученых, чья поддержка помогает «прорваться» в те круги, где они царят, короче, ради всех тех, кто поможет блеснуть или заключить выгодный брачный союз.

Но главное, г-н де Норпуа во время своей продолжительной дипломатической службы проникся тем неодобрительным, рутинным, одним словом, «правительственным» духом, что присущ на самом деле всем пра-

вительствам и, в частности, канцеляриям, существующим при каждом правительстве. На служебной стезе опорой ему служили отвращение и презрение к тем более или менее революционным или по меньшей мере некорректным приемам, которыми пользуется оппозиция; такие приемы внушали ему страх. Если не считать неучей, разночинных или великосветских, для которых разница в стиле — пустой звук, людей объединяет не сходство убеждений, а духовное родство. Академик вроде Легуве, поборник классиков, скорее станет восторгаться похвалой Виктору Гюго из уст Максима Дюкана или Мезьера, чем восхищенным отзывом Клоделя о Буало⁵. Национализм Барреса привлекает к нему избирателей, для которых нет большой разницы между ним и г-ном Жоржем Берри⁶, но не собратьев по Академии, у которых политические убеждения те же, а общий строй мыслей совершенно другой, поэтому им милее даже такие противники Барреса, как г-н Рибо и г-н Дешанель — а правоверные монархисты в свой черед тянутся скорее к Барресу и Рибо, чем к Моррасу или Леону Доде, хотя эти последние тоже хотели бы возвращения короля⁷. Г-н де Норпуа был скуп на слова не только по профессиональной привычке к благоразумию и сдержанности, но и потому, что немногословные замечания звучат более веско, передают больше оттенков, особенно на вкус людей, у которых десять лет усилий по сближению двух стран, в речи ли, в протоколах ли, выражаются и запечатлеваются в виде какого-нибудь простого прилагательного, на первый взгляд банального, но для них-то в этом слове воплощен целый мир; поэтому маркиз слыл весьма холодным человеком в той комиссии, где заседал рядом с моим отцом, которого все поздравляли с тем, что он приобрел дружбу бывшего посланника. Этой дружбе мой отец удивлялся больше всех. Вообще отец был человек не слишком любезный,

поэтому он привык, что к нему не очень-то тянутся люди за пределами кружка самых близких, и сам простодушно в этом признавался. Он чувствовал, что знаки благоволения дипломата — результат совершенно индивидуальной точки зрения, которую каждый из нас вырабатывает сам для себя, решая, кто ему симпатичен; ведь если кто-нибудь раздражает нас или наводит на нас скуку, то этого не искупят никакие сокровища ума и доброты: мы всегда предпочтем ему другого, искреннего и веселого, пускай эти качества многим кажутся пустяковыми, ничтожными и несущественными. «Де Норпуа опять пригласил меня на обед; чудеса, да и только; все в комиссии изумлены, ведь он ни с кем там не сближается. Я уверен, что он опять будет рассказывать захватывающие подробности о войне семидесятого года»⁸. Отец знал, что г-н де Норпуа был чуть ли не единственным, кто предупредил императора о растущей мощи и воинственных намерениях Пруссии, и что его умом восхищался Бисмарк. Совсем недавно газеты отметили, что в Опере во время галапредставления в честь царя Теодоза⁹ государь удостоил г-на де Норпуа долгой беседы. «Я непременно должен выяснить, в самом ли деле этот визит имеет такое значение, — сказал нам отец, питавший огромный интерес к иностранной политике. — Я знаю, что папаша Норпуа весьма сдержан, но передо мной он так мило раскрывается».

Маме, вероятно, больше нравился в людях иной склад ума, чем у бывшего посланника. Замечу, что разговор г-на де Норпуа представлял собой необыкновенно полное собрание устаревших форм языка, присущих определенной профессии, определенному классу, определенной эпохе — эпохе, которая для этой профессии и этого класса еще не вполне отодвинулась в прошлое, — и я подчас жалею, что не запоминал в точности его то-

гдашних речей. Овладев его словарем, я бы достиг без особых затрат и хлопот того самого эффекта старомодности, что актер Пале-Рояля¹⁰, у которого спросили, где можно найти такие потрясающие шляпы, как у него, а актер ответил: «Я не нахожу свои шляпы. Я их храню»¹¹. Словом, думаю, что мама считала г-на де Норпуа несколько «несовременным»; против несовременных манер она как раз не возражала, да и понятия г-на де Норпуа были как нельзя более современные, но вот от его лексикона она была далеко не в восторге. Зато она чувствовала, что тонко льстит мужу, говоря с восхищением о дипломате, который выказывает ему столь редкостное предпочтение. Она подтверждала хорошее отношение к г-ну де Норпуа, сложившееся у отца, а тем самым укрепляла его в хорошем отношении к себе самому; и она сознавала, что исполняет таким образом свой долг, состоявший в том, чтобы украшать жизнь мужу; во имя того же долга она следила, чтобы еда была вкусная, а прислуга расторопная. А поскольку она была неспособна лгать отцу, то сознательно упражнялась в искусстве восхищаться посланником, чтобы хвалить его со всей искренностью. Впрочем, ей в самом деле нравился его добродушный вид, его несколько старомодная учтивость (настолько церемонная, что, когда он шагал по тротуару, выпрямившись во весь свой немалый рост, и замечал маму в экипаже, то прежде чем приветствовать ее взмахом шляпы, отбрасывал далеко прочь только что раскуренную сигару), его неторопливый разговор, в котором о себе он говорил как можно меньше и никогда не забывал о том, что может быть приятно собеседнику, его поразительная пунктуальность в переписке: бывало, отец едва отправит ему письмо и уже узнаёт его почерк на только что полученном конверте, так что первым делом ему приходит в голову, что их письма разминулись: казалось, для г-на де Норпуа

заведена на почте особая ускоренная доставка. Мама восторгалась тем, что он так точен, хотя очень занят, и так дружелюбен, хотя окружен множеством людей, и ей не приходило в голову, что «хотя» — это всегда скрытые «потому что» (не случайно старые люди бывают поразительно молоды для своего возраста, короли исполнены простоты, а провинциалы в курсе всех новостей) и что одни и те же привычки позволяют г-ну де Норпуа успешно заниматься столькими делами и так аккуратно отвечать на письма, пользоваться таким успехом в обществе и проявлять такую благожелательность по отношению к нам. К тому же мама впадала в заблуждение, свойственное всем скромным людям: ставила себя ниже других, а потому упускала из виду общую картину. Превознося друга моего отца, обремененного ежедневной обширной перепиской, за то, что он мгновенно отвечает нам на письма, она отделяла наше письмо от груды остальных, хотя оно было лишь одним из многих; точно так же она не понимала, что обед у нас в гостях был для г-на де Норпуа одним из бесчисленных элементов его светской жизни: ей в голову не приходило, что посланник с незапамятных времен привык на своей дипломатической службе считать обеды вне дома частью своих служебных обязанностей и расточать на этих обедах издавна усвоенную любезность, а ждать от него, чтобы он был как-то по-особенному любезен у нас в гостях, было бы слишком самонадеянно.

Впервые г-н де Норпуа пришел к нам обедать в тот год, когда я еще ходил играть на Елисейские Поля; этот обед остался у меня в памяти, потому что в тот день я наконец пошел на дневной спектакль слушать великую Берма¹² в «Федре»¹³, а еще потому что, беседа с г-ном де Норпуа, я внезапно и совершенно поновому осознал, насколько мои чувства к Жильберте,

Сванну и всей их семье отличаются от тех чувств, которое вызывает эта самая семья у всех, кроме меня.

Наверное, мама заметила, в какое уныние повергло меня приближение новогодних каникул, на которых я не смогу видаться с Жильбертой, о чем моя подруга сама меня предупредила; и вот в один прекрасный день, желая меня развлечь, мама сказала: «Если тебе по-прежнему так хочется послушать Берма, я думаю, что отец тебе разрешит: бабушка готова пойти с тобой в театр».

Не кто иной, как г-н де Норпуа, сказал отцу, что нужно сводить меня на Берма: это, мол, будет одно из тех впечатлений, которые навсегда должны остаться в памяти у молодого человека; и вот отцу, до сих пор и мысли не допускавшему, что я буду терять время и рисковать здоровьем ради того, что он, к негодованию бабушки, называл пустяками, теперь уже, после рекомендации посланника, этот спектакль смутно представлялся чуть ли не одним из драгоценных рецептов блестящей карьеры. А бабушка уже успела во имя моего здоровья мысленно пожертвовать всей той пользой, которую, по ее мнению, я получил бы от выступления Берма, и теперь удивлялась, каким образом по одному слову г-на де Норпуа жертва оказалась ненужной. Теперь бабушка, вооружась рационализмом, твердо уповала на предписанные мне свежий воздух и ранние укладывания в постель; заранее оплакивая предстоящее мне нарушение режима, она с сокрушенным видом говорила отцу: «Как вы легкомысленны!» — а он яростно отбивался: «Я просто ушам своим не верю! Вы же сами все время твердили, что это пойдет ему на пользу, а теперь не хотите его пустить!»

Между тем г-н де Норпуа повлиял на намерения моего отца в еще более важном вопросе. Отец всегда хотел, чтобы я стал дипломатом, а для меня была невыносима мысль, что даже если какое-то время я буду

связан с министерством, то потом все равно меня, скорей всего, назначат посланником в какую-нибудь иностранную столицу, где не будет Жильберты. Мне бы больше хотелось вернуться к прежним моим литературным планам, которые я вынашивал на прогулках в сторону Германта и от которых потом отказался. Но отец постоянно сопротивлялся моему желанию избрать себе поприщем литературу: он считал ее гораздо ниже дипломатии и вообще отказывался видеть в ней «поприще», однако г-н де Норпуа, не любивший дипломатов новейшей формации, сумел его убедить, что писатель может пользоваться таким же уважением, таким же влиянием, как дипломат, и при этом сохранять бóльшую независимость.

«Вот уж никогда бы не подумал! — сказал мне отец, — папаша Норпуа ничего не видит страшного в том, чтобы ты занимался литературой». Сам обладая некоторым весом, он верил, что любое дело может устроиться и разрешиться наилучшим образом, если поговорить о нем с влиятельным человеком: «Как-нибудь на днях после заседания комиссии я приведу его обедать. Ты с ним немного побеседуешь, чтобы он мог составить о тебе мнение. Напиши что-нибудь такое, чтобы не стыдно было ему показать; он в прекрасных отношениях с директором „Ревю де Дё Монд“¹⁴, он может тебя туда ввести, он что угодно уладит, это такая голова! А сегодняшнюю дипломатию он, кажется, не слишком-то жалуется...»

Я жаждал не разлучаться с Жильбертой и во имя этого счастья хотел, но не мог написать что-нибудь воистину достойное, что можно было бы показать г-ну де Норпуа. После первых же страниц мне становилось скучно, перо выпадало из рук, я плакал от ярости при мысли, что у меня нет таланта и я настолько бездарен, что даже не могу воспользоваться шансом, который сулит мне

скорая встреча с г-ном де Норпуа, и навсегда остаться в Париже. Меня утешала только мысль о том, что скоро мне разрешат послушать Берма. Но точно так же как бурю я мечтал увидеть непременно на том побережье, где она бушует сильнее всего, так и великую актрису мне хотелось бы видеть в одной из тех классических ролей, о которых Сванн говорил, что в них она не знает себе равных. Ведь впечатлений от природы или искусства мы жаждем в надежде открыть для себя нечто важное; поэтому мы сомневаемся, стоит ли вместо этого пробавляться более мелкими впечатлениями, которые исказят для нас истинный смысл прекрасного. Мое воображение манили знаменитые роли Берма в «Андромахе», в «Прихотях Марианны»¹⁵, в «Федре». Тот же восторг, что в день, когда гондола принесет меня к стенам церкви деи Фрари, где таится Тициан, или к Сан Джорджо дельи Скьявони¹⁶, ждал меня, если я услышу, как Берма декламирует стихи:

Сказали мне, что вы собрались в дальний путь,
Мой принц...¹⁷

Я знал их по простому черно-белому воспроизведению типографским способом; но сердце мое билось, когда я думал, что наконец они предстанут мне омытые воздухом и светом серебристого голоса: это было бы словно воплощенное в жизнь путешествие. Шедевры драматического или изобразительного искусства — Карпаччо¹⁸ в Венеции или Берма в «Федре» — были в моем воображении окружены ореолом, сообщавшим им такую цельность, что если бы я увидел Карпаччо в зале Лувра или Берма в какой-нибудь пьесе, о которой никогда не слышал, я ни за что не испытал бы восхитительного изумления, с которым сознаешь, что вот наконец видишь своими глазами нечто непостижимое и единственное в своем роде, именно то, о чем без конца меч-

тал. А кроме того, от игры Берма я ожидал откровений о природе благородной скорби, и мне казалось, что эта приподнятость, эта истинность явятся в ее игре с особенной полнотой, если актриса вложит их в произведение воистину достойное, вместо того чтобы вышивать перед нами прекрасные и правдивые узоры на пошлом, в сущности, и посредственном фоне.

И наконец, если я пойду слушать Берма в новой пьесе, мне нелегко будет судить о ее искусстве, совершенстве ее декламации, потому что, не зная заранее текста, я не сумею отделить его от того, что добавят ему интонации и жесты актрисы, слившись с ним воедино; а классические произведения, которые я знал наизусть, представлялись мне огромными полотнищами, словно специально отведенными и предназначенными для того, чтобы я мог легко и свободно оценивать открытия Берма, расписавшей их, словно фрески, бессмертными находками своего вдохновения. К сожалению, в последние годы она покинула более знаменитые подмостки и блистала в одном театре на бульварах¹⁹; классики она больше не играла, и напрасно я смотрел афиши: там объявлялись всегда только совсем новые пьесы, сочиненные специально для нее модными авторами; но вот как-то утром я искал в колонке театральных анонсов, какие будут дневные спектакли на неделе после Нового года, и увидел впервые, в конце представления, после одноактной пьески, скорее всего неинтересной, с невразумительным, на мой взгляд, названием, отражавшим какие-то частности неведомой мне интриги, — два действия из «Федры» с мадам Берма, а на следующих утренних спектаклях «Полусвет»²⁰, «Прихоти Марианны», — названия, которые, так же как имя Федры, были для меня прозрачны, наполнены только светом, ведь сами произведения я знал вдоль и поперек, и до самого дна озарены улыбкой искусства. А потом, когда я уви-

дел в газете программу этих спектаклей и прочел, что мадам Берма решила вновь показаться публике в своих старых ролях, это еще больше возвысило ее в моих глазах. Значит, артистка знала, что некоторые роли интересны не благодаря своей новизне и не потому, что их возобновление может принести успех; собственная трактовка этих ролей была для нее чем-то вроде музейных шедевров, которые полезно было бы вновь представить взорам того поколения, которое ими восхищалось раньше, и того, которое их уже не застало. Объявляя вот так, среди пьес, годных только на то, чтобы вечер провести, «Федру», чье название было не длинней других и набрано было таким же шрифтом, она словно вкладывала в это имя особый смысл, как хозяйка дома, которая знакомит вас с остальными гостями перед тем, как идти к столу, и среди имен обыкновенных людей, таким же тоном, каким она называла всех, произносит: господин Анатолий Франс²¹.

Врач, который меня лечил — тот, что запретил мне все путешествия, — не советовал родителям пускать меня в театр; я, дескать, вернусь оттуда больной и, возможно, надолго расхвораюсь, одним словом, испытаю не столько удовольствие, сколько новые страдания. Такое опасение могло бы меня остановить, если бы я ждал от этого спектакля только удовольствия, которое последующие страдания могут, в сущности, свести на нет: одно компенсирует другое. Но — так же, как от поездок в Бальбек и в Венецию, столь для меня желанных, — я ждал от спектакля не удовольствия, а совсем другого; я жаждал истин, принадлежащих миру более реальному, чем тот, в котором я жил; если я овладею этими истинами, никакие превратности моего праздного существования, пускай даже мучительные для тела, уже не смогут лишить меня добытого знания. А главное, мне казалось, что для того, чтобы воспринять эти

истины, мне необходимо вот именно насладиться спектаклем; я только мечтал, чтобы хворь, которую мне предрекали, не испортила мне зрелища и не помешала досидеть до конца, а началась уже потом. Я умолял родителей, которые после визита врача передумали пускать меня на «Федру». Я без конца декламировал сам себе тираду: «Сказали мне, что вы собрались в дальний путь», выискивая все интонации, которые можно в нее вложить, чтобы лучше оценить ту, что изберет Берма. Небесная красота, словно святая святых, была укрыта от меня завесой, и я каждый миг воображал ее себе по-новому, отталкиваясь от слов Берготта в той брошюре, что нашла для меня Жильберта, — эти слова непрестанно всплывали у меня в памяти: «Благородная пластика, христианская власяница, янсенистская бледность, трезенская царевна, принцесса Клевская, микенская драма, дельфийский символ, солярный миф»; эта самая красота, которую должна была явить мне игра Берма, денно и ночью восседала на вечно озаренном алтаре в глубине моей души, но до сих пор мне виден был только ее смутный силуэт — а жестокие и легкомысленные родители еще раздумывали, стоит ли заменить его совершенствами Богини, явленной во всем блеске. Не отводя глаз от таинственного образа, с утра до вечера я боролся с препятствиями, которые воздвигали передо мной родные. Но когда преграды пали, когда мама сказала (хотя спектакль пришелся как раз на тот день, когда после заседания комиссии отец должен был привести на обед г-на де Норпуа): «Ну ладно уж, мы не хотим тебя огорчать, сходи, если ты уверен, что тебе так понравится», когда этот поход в театр, за который мне столько пришлось бороться, перестал от меня зависеть и оказалось, что мне не нужно больше ничего делать, что он перестал быть неосуществимым, тут-то я и задумался, а так ли я этого хочу, а нет ли у меня

других причин, кроме родительского запрета, чтобы отказаться от похода в театр. Во-первых, теперь, когда я уже не возмущался жестокостью родителей, их согласие вызвало во мне такой прилив любви, что мысль о том, чтобы их опечалить, приводила меня в отчаяние; мне уже казалось, что цель жизни — не истина, а нежность, и сам я могу быть счастлив только если родители будут счастливы. «Я лучше не пойду, если вам это неприятно», — сказал я маме, а она, напротив, пыталась выбить у меня из головы эту заднюю мысль о том, что она будет расстраиваться, мысль, которая, по ее словам, испортит мне всё удовольствие от «Федры», а ведь ради этого удовольствия они с отцом и отменили свой запрет. Выходило, что я обязан получить удовольствие, и это меня тяготило. И если я заболел, то как долго продлится мое выздоровление и сумею ли я после каникул, когда вернется Жильберта, сразу пойти на Елисейские Поля? По всем этим причинам я разглядывал со всех сторон идею о совершенстве Берма, невидимом по ту сторону завесы, и пытался решить, что важнее. На одну чашу весов я бросал «мамино огорчение, риск, что я не смогу пойти на Елисейские Поля», на другую — «янсенистскую бледность, солярный миф»; но сами эти слова затуманивались у меня в сознании, ничего уже не значили, теряли в весе; постепенно колебания мои превращались в такую муку, что в театр мне хотелось уже только ради того, чтобы прервать эту муку и избавиться от нее раз и навсегда. Теперь уже я бы пошел не к Мудрой Богине, а к неумолимому Божеству без лица и прозвания, которое тайно заняло ее место за завесой, и не в надежде на интеллектуальное обогащение, не в стремлении к совершенству, а только чтобы уменьшить боль. Но внезапно все переменялось, новый удар хлыста подстегнул мою решимость пойти на Берма, и я опять стал ждать спектакля

с радостным нетерпением: а всё потому, что, совершая, как новоявленный столпник, ежедневную остановку у афишной тумбы, с недавних пор такую мучительную, я увидел подробную афишу «Федры», она была еще влажная, ее только что наклеили в первый раз, и, по правде сказать, имена остальных исполнителей не произвели на меня ни малейшего впечатления, я на них и внимания не обратил. Но одной из двух целей, между которыми металась моя нерешительность, эта афиша придавала более жизненную форму; причем на ней стояло не то число, когда я ее читал, а дата представления, и даже было указано время, когда поднимется занавес, — почти неизбежное, уже приближающееся, и я запрыгал от радости перед тумбой при мысли о том, что в этот день, в этот самый час я буду ждать выхода Берма, сидя на своем месте; и из страха, вдруг родители не успеют найти хорошие места для нас с бабушкой, я огромными скачками помчался домой, ополоумев от волшебных слов, вытеснивших из моих мыслей «янсенистскую бледность» и «солярный миф»: «Дамы в шляпках в партер не допускаются, двери зала закрываются в два часа».

Увы, этот первый спектакль обернулся огромным разочарованием. Отец предложил завезти нас с бабушкой в театр по дороге в комиссию. Перед уходом он сказал маме: «Постарайся, чтобы обед был лучше: ты же помнишь, что я приеду вместе с Норпуа?» Мама об этом не забыла. И еще накануне Франсуаза, одержимая творческим восторгом, вдохновляясь к тому же ожиданием нового гостя и зная, что ей предстоит создать, согласно рецепту, ведомому ей одной, заливную говядину, с упоением ринулась встряпню, к которой у нее несомненно был талант; придавая огромное значение качеству исходного материала, из которого ей предстояло творить, она сама отправилась на рынок

и выбрала лучшие куски мякоти — лопатку, и рульку, и телячьи ножки: так Микеланджело восемь месяцев провел в горах Каррары, выбирая наиболее совершенные глыбы мрамора для памятника Юлию II. Франсуаза отдавалась этим хождениям с таким пылом, что мама, видя ее разгоревшееся лицо, опасалась, как бы наша старая служанка не слегла от переутомления, как это случилось в карьерах Пьетрасанта с автором гробницы Медичи²². Накануне же Франсуаза переправила булочнику окорок, подобный розовому мрамору и бережно облепленный хлебным мякишем, чтобы он запек этот окорок в своей печи — это у нее называлось нью-йоркской ветчиной. Не доверяя ни какому-либо богатству языка, ни собственным ушам, она, наверно, когда впервые услышала о йоркской ветчине, решила, что недопоняла и имеется в виду город, о котором она уже знает, — ей казалось невозможной расточительностью, что в словаре могут существовать одновременно и Йорк, и Нью-Йорк. Поэтому, если в объявлении или в разговоре проскальзывало название Йорк, Франсуаза всегда мысленно добавляла к нему слог «Нью», который она произносила как «Нев». Свято уверенная в своей правоте, она говорила девице, прислуживавшей в кухне: «Сходите-ка к Олида за ветчиной. Хозяйка велела спросить нью-йоркской»²³. Таким образом, Франсуазу в тот день обурежала пламенная вера в себя, присущая великим творцам, а меня снедало жестокое беспокойство, удел исследователей. Кажется, счастье началось еще до того, как я услышал Берма. Оно охватило меня в скверике перед театром, там, где два часа спустя облетевшим каштанам предстояло вспыхнуть металлическими отблесками, как только газовые рожки осветят их ветки до мельчайших подробностей; оно возросло при виде контролеров, чьи назначения, и продвижения по службе, и судьбы зависели от великой

артистки — ведь она единовластно правила театром, во главе которого незримо сменяли друг друга эфемерные, чисто фиктивные директора, — и контролеры взяли у нас билеты не глядя, озабоченные только тем, все ли предписания мадам Берма доведены до сведения нового персонала, все ли усвоили, что театральная клака не должна ей хлопать, что до того, как она выйдет на сцену, следует открыть окна, а когда она уже будет там, закрыть все двери до единой; что рядом с ней должен стоять незаметный публике сосуд с теплой водой, чтобы пыль не поднималась в воздух; и впрямь, экипаж актрисы, запряженный двумя длинногривыми конями, должен был с минуты на минуту подкатить к театру; и тогда она выйдет, закутанная в меха, и досадливым жестом отвечая на приветственные крики, отправит одну из камеристок справиться о литерной ложе, которую должны были зарезервировать для ее друзей, и о температуре в зале, и о составе публики в ложах, и об униформе капельдинерш, ведь театр и зрители были для нее внешним продолжением ее собственного костюма, в котором она выйдет на сцену, и проводящей средой, более или менее удачной, в которой будет распространяться ее талант. Счастье не покинуло меня и в зале; я уже знал, что — вопреки тому, что я так долго воображал в детстве, — на самом деле всем зрителям видна одна и та же сцена, и, понимая это, опасаясь, что другие люди мне всё заслонят, как в толпе; но оказалось, что, напротив, благодаря особому устройству зала, словно символизирующему наше восприятие, каждый чувствует себя в самом центре театра; теперь мне было ясно, почему, когда Франсуазу однажды отправили посмотреть мелодраму в третий ярус, она, вернувшись, уверяла, что у нее было самое лучшее место, какого только можно пожелать: она не только не чувствовала себя слишком далеко от сцены, а даже оробе-

ла от таинственной близости колеблющегося занавеса. Мое счастье еще возросло, когда я начал различать позади этого опущенного занавеса смутные звуки, словно под скорлупой яйца, из которого вот-вот вылупится цыпленок; звуки делались всё громче, и внезапно из этого мира, непроницаемого для наших взглядов, но не сводившего с нас глаз, властно заговорили прямо с нами, обернувшись тремя ударами жезла, волнующими, словно сигналы, прилетевшие с планеты Марс. Счастье продолжалось, когда занавес взвился и на сцене оказались письменный стол и камин, совершенно, кстати, обычные, означавшие, что персонажи, которые выйдут на сцену, — не актеры, которые начнут декламировать, как я однажды слышал в концерте, а просто люди у себя дома, живущие обычной жизнью, в которую я влился незаметно для них; только одна мимолетная тревога нарушала мое счастье: пока я прислушивался перед самым началом действия, из-за кулис вышли два человека, очень сердитых, видимо, потому что говорили так громко, что в зале на тысячу с лишним зрителей было слышно каждое слово — а ведь в каком-нибудь маленьком кафе и то приходится спрашивать у официанта, что говорят те двое, ухватившие друг друга за шиворот; но, удивляясь, почему публика слушает их без возражений и всеобщую тишину нарушает только вспыхивающий время от времени смехок, я тут же и понял, что эти наглецы — актеры и что началась одноактная пьеса, которой должно было открываться представление. За ней последовал антракт, такой длинный, что зрители вернулись на места и в нетерпении топали ногами. Я заволновался: не зря же, читая в отчете о судебном заседании, как великодушный свидетель вопреки собственным интересам явился дать показания в пользу невиновного, я всегда опасался, вдруг с ним обойдутся недостаточно уважительно,

не поблагодарят как следует, не вознаградят должным образом, и тогда ему станет противно и он перейдет на сторону несправедливости; и теперь, приравнивая тем самым гений к добродетели, я боялся, что Берма разгневется на дурные манеры невоспитанных зрителей и примется играть похуже, чтобы выразить им свое недовольство и презрение — а я-то хотел, напротив, чтобы она обрадовалась, заметив в зале каких-нибудь известных людей, чье суждение для нее небезразлично. И я умоляюще смотрел на этих грубых скотов, в своей злобе готовых разрушить хрупкое и драгоценное впечатление, за которым я пришел. И наконец, истекли последние мгновения моего счастья — они пришлись на первые сцены «Федры». Во втором акте Федра появляется не в самом начале; однако вот поднялся занавес, потом раздвинулся второй занавес из красного бархата, углублявший сценическое пространство во всех пьесах, где играла звезда, и из глубины сцены вышла актриса, лицом и фигурой точь-в-точь похожая на Берма, как мне ее описывали. Вероятно, состав исполнителей изменили, и напрасно я так старательно изучал роль жены Тезея. Но тут вторая актриса подала первой реплику. Я, наверное, ошибся, когда принял за Берма эту первую актрису, потому что вторая была на нее похожа еще больше, так же выглядела, так же говорила. Вдобавок у обеих к словам роли добавлялись благородные жесты — которые я прекрасно замечал, понимая их связь с текстом, когда актрисы вздымали свои прекрасные пеплосы²⁴, — и причудливые интонации, то страстные, то язвительные, открывавшие мне значение стиха, который дома я читал, недостаточно вникая в его смысл. Но внезапно, словно в раме, в зазоре красного занавеса, скрывавшего святилище, возникла женщина; к этому мигу меня снедал такой жестокий страх, какого не знала, вероятно, и сама актриса, — страх, что кто-ни-

будь раскроет окно и ей помешает, что шуршание какой-нибудь программки исказит звук ее голоса, что ее собьют аплодисменты, предназначенные другим актрисам, а ей самой будут аплодировать слишком мало; для меня уже не меньше, чем для нее самой, и зал, и публика, и пьеса, и собственное мое тело превратились в единую звуковую среду, имевшую значение лишь в той мере, в какой она благоприятствует модуляциям этого голоса; и вот тут-то я понял, что две актрисы, которыми я восхищаюсь вот уже несколько минут, не имеют ни малейшего сходства с той, кого я пришел послушать. Но одновременно рассеялось всё счастье; как ни тянулся я к Берма зрением, слухом, умом, не желая ни капельки упустить из того, что могло бы меня в ней поразить — всё было напрасно: мне было не найти ни одной самой ничтожной причины для восхищения. Я даже не улавливал тех мастерских интонаций, тех прекрасных жестов, которые понравились мне в манере произносить текст и в игре других актрис. Я слушал ее так, будто просто читал «Федру» или будто сама Федра говорила передо мной какие-то слова; казалось, талант Берма ничего к ним не добавлял. Мне хотелось бы задержать, надолго остановить каждую интонацию актрисы, каждое выражение ее лица — чтобы углубиться в них, чтобы как следует осознать красоту, которая в них таилась; прищипывая свои умственные возможности, я пытался хотя бы заранее сосредоточиться и настроить свое внимание на каждый стих, который сейчас прозвучит, чтобы потом уже ни на долю секунды не отвлекаться ни от единого слова, ни от единого жеста, в надежде, что такое страстное напряжение поможет мне проникнуть в них так же глубоко, как если бы у меня были на это долгие часы. Но всё происходило слишком быстро! Не успевал звук коснуться моего слуха, как его уже сменял другой. В сцене, где Берма на мгновение

замирает, прикрыв рукой лицо, омытое зеленоватым светом искусственного освещения, на фоне декорации, изображающей море, зал взорвался аплодисментами, но актриса уже перешла на другое место, и картина, которую я хотел подробно рассмотреть, исчезла. Я сказал бабушке, что мне плохо видно, и она дала мне бинокль. Но когда мы верим в реальность того, что видим, искусственные средства вроде бинокля, улучшая наше зрение, совсем не приближают нас к тому, на что мы смотрим. Я понимал, что сквозь увеличительные стекла вижу уже не Берма, а только ее лицо. Я отложил бинокль, но наверно образ, видимый моему глазу, отдаленный, а потому слишком мелкий, был не более точен... — какая же из двух Берма настоящая? Я очень рассчитывал на ее признание Ипполиту, где, казалось мне, она непременно найдет более поразительные интонации, чем всё, что я пытался вообразить, читая у себя дома — недаром же другие артистки и в менее прекрасных местах то и дело искусно раскрывали передо мной скрытое значение текста; но она не поднималась даже до тех высот, которых достигали Энона или Арикия; она прошла рубанком однообразного речитатива по всей тираде, сгладив все эффектные разительные противопоставления, которыми не пренебрегла бы ни одна мало-мальски умелая актриса, даже ученица лица, к тому же она продекламировала всю тираду так быстро, что разум мой только тогда охватил намеренную монотонность, которую она навязала первым строкам монолога, когда она уже произносила последний стих.

И тут наконец во мне впервые вспыхнуло восхищение: его вызвали исступленные рукоплескания зрителей. Я тоже захопал, стараясь продлить аплодисменты, чтобы в благодарность за них Берма превзошла самое себя и чтобы окончательно увериться, что слы-

шал ее во всем ее блеске. Интересно, однако, что после я узнал: восторг публики был вызван одной из ее самых прекрасных находок. Видимо, толпа чувствует сияние, исходящее от чего-то поистине возвышенного. Так бывает, когда свершается какое-нибудь важное событие, например когда наша армия попала в окружение, или наголову разбита, или одержала победу, и вот с границы приходят невразумительные вести, по которым культурный человек не очень-то представляет себе, что произошло; но эти самые вести вызывают в толпе всплеск чувств, изумляющий культурного человека; и после того как люди понимающие растолкуют ему всё, что случилось на театре военных действий, его осеняет, что толпа уловила именно эту «ауру», окружающую великие события, которая бывает видна за сотни километров. О победе узнается или задним числом, когда война окончена, или немедленно — из ликования консьержки. О гениальной находке Берма становится известно или через неделю, из критики, или сразу — по овациям в амфитеатре. Но это мгновенное знание толпы теряется среди сотен заблуждений: чаще всего аплодисменты вспыхивали впустую; а иногда их волна поднималась по инерции, под воздействием предыдущей волны: так в бурю, когда море как следует разбушевалось, волнение становится всё сильнее, хотя ветер больше не усиливается. Как бы то ни было, чем больше я аплодировал, тем больше мне нравилась игра Берма. «Что ни говори, — заметила рядом со мной какая-то вполне заурядная зрительница, — она себя не щадит, мечется, вот-вот надорвется, носится по сцене, да что там говорить, вот как надо играть». Я был рад, что превосходству Берма нашлись доказательства, хоть и догадывался, что они не убедительнее, чем восклицание крестьянина, увидевшего не то Джоконду, не то Персея Бенвенуто²⁵: «А ловко смастерил! Всё в золоте, красота! вот это работа!»; все

равно я вместе со всеми упивался дешевым вином народных восторгов. И вместе с тем, когда дали занавес, мне стало грустно, что удовольствие, которого я так жаждал, оказалось меньше, чем я надеялся; а все-таки мне хотелось, чтобы оно продлилось еще, не хотелось уходить из зала и навсегда покидать эту жизнь театра, которая несколько часов была и моей жизнью и от которой мне пришлось бы отрывать себя насильно, словно отправляясь в изгнание, если бы не надежда многое узнать о Берма от ее ценителя, г-на де Норпуа, ископотававшего мне разрешение пойти на «Федру». Перед обедом меня ему представили, ради этого отец позвал меня в кабинет. Когда я вошел, посланник привстал с места, протянул мне руку, поклонился с высоты своего немалого роста и внимательно глянул на меня своими голубыми глазами. Заезжие иностранцы, с которыми его знакомили в те времена, когда он представлял Францию, все были в каком-нибудь отношении людьми высшей пробы, известными певцами и тому подобное, и он понимал: позже, когда в Париже или Петербурге при нем назовут их имена, он сможет рассказать, что прекрасно помнит вечер, который провел в их обществе в Мюнхене или в Софии; поэтому он приучил себя к обходительности: с ее помощью он показывал знаменитостям, как рад он знакомству с ними; кроме того, он был убежден, что жизнь столичных городов, а также соприкосновение с интересными людьми, которые подчас туда приезжают, и с обычаями местных жителей обогащают нас углубленным знанием истории, географии, нравов разных народов, течений европейской мысли — знанием, которое невозможно извлечь из книг; поэтому на каждом новом знакомце он упражнял свою острую наблюдательность, чтобы сразу понять, с каким человеческим типом имеет дело. Правительство давно уже не доверяло ему постов за грани-

цей, но как только ему кого-нибудь представляли, его глаза, словно им никто не сообщил о том, что их хозяин не на службе, тут же принимались за плодотворное наблюдение; сам он тем временем всячески старался показать, что имя нового человека ему уже отчасти знакомо. Поэтому и со мной он говорил благодушно и значительно, словно бы с высоты своего обширного опыта, который он сам прекрасно сознавал, и при этом не сводил с меня любопытного, проницательного и хищного взгляда, словно я представлял собой что-то вроде экзотического обычая, интересного памятника или знаменитого гастролера. Таким образом, по отношению ко мне он являл сразу и величественную доброжелательность мудрого Ментора, и неустанную пытливость юного Анахарсиса²⁶.

Он не предложил мне ни малейшей помощи с «Ревю де Дё Монд», зато довольно подробно расспросил, как я живу, как учусь, что мне нравится, что не нравится; впервые мои вкусы обсуждались так, словно они могут быть кому-нибудь интересны — до сих пор мне казалось, что все просто обязаны их ниспровергать. Поскольку меня влекло к литературе, он не стал меня отговаривать; наоборот, говорил о ней, как о почтенной и обаятельной особе весьма избранного общества, о которой хранят наилучшие воспоминания в Риме и в Дрездене и жалеют, что жизненные обстоятельства не дают встречаться с нею почаще. Он улыбался несколько даже игриво, с таким видом, будто заранее завидует радостям, которые она подарит мне, более удачливому и более свободному, чем он. Но пока он об этом рассуждал, даже его выбор слов рисовал литературу совершенно не такой, какой я ее себе вообразил в Комбре, и я понял, что был тысячу раз прав, отказавшись от нее. До сих пор я только понимал, что лишен литературного дара; теперь г-н де Норпуа отбил у меня и желание писать.

Я хотел пересказать ему мои мечты; меня трясло от волнения, я бы не простил себе, если бы все мои слова не передавали со всей возможной искренностью то, что я чувствовал, но никогда еще не пробовал сформулировать; понятное дело, что речь моя была довольно бессвязна. Г-н де Норпуа выслушивал всё, что ему говорили, с таким неизменно неподвижным лицом, словно вы обращались к какому-нибудь античному, причем глухому, бюсту в глиптотеке, — возможно, по профессиональной привычке, возможно, в силу невозмутимости, с которой любое значительное лицо выслушивает тех, кто обратился к нему за советом (ведь руководство разговором у него в руках, так пускай собеседник волнуется, лезет вон из кожи, надрывается, сколько ему будет угодно), а возможно, и желая покрасоваться (он считал, что похож на древнего грека, несмотря даже на пышные бакенбарды). А потом, когда посланник изрекал ответ, голос его, настигая вас, как молоточек аукциониста или дельфийский оракул, поражал тем сильнее, что ничто в его лице не предвещало вам, какое впечатление вы на него произвели и какого рода суждение он собирается высказать. И после того как я долго лепетал что-то под взглядом его неподвижных глаз, не отрывавшихся от меня ни на миг, он внезапно сказал, словно всё взвесил и решил:

— Есть у меня знакомый, сын друзей, он, *mutatis mutandis**, такой же, как вы (причем, как только он заговорил о сходстве между нами, в голосе у него появились утешительные интонации, словно речь шла о склонности не к литературе, а к ревматизму и он хотел уверить меня, что это не смертельно). Так вот, он по доброй воле покинул набережную Орсе²⁷, хотя отец

* С необходимыми поправками; изменив, что надо изменить (*лат.*).

СОДЕРЖАНИЕ

От переводчика. <i>Е. Баевская</i>	5
I. ВОКРУГ ГОСПОЖИ СВАНИ	11
II. ИМЕНА МЕСТ: МЕСТО	273
Примечания. <i>Е. Баевская</i>	654